

Главная (<http://istorex.ru/mainpage/index>)

/ Ушакин С.А. "Все в моей академической жизни довольно случайно"

## Ушакин С.А. "Все в моей академической жизни довольно случайно"



Сергей Александрович Ушакин, профессор кафедры антропологии и кафедры славянских языков и литератур, директор Программы восточно-европейских, евразийских и российских исследований Принстонского университета. Автор книг: *The Patriotism of Despair: Nation, War, and Loss in Russia* (Cornell, 2009); *Поле пола*. Вильнюс: ЕГУ, 2007. Редактор-составитель: *Формальный метод: Антология русского модернизма*. Тт.1-3. Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016; *Семейные узы: модели для сборки*. Тт.1-2. М.: Новое

литературное обозрение, 2004; *О муже(Н)ственности*. М.: Новое литературное обозрение, 2002. Со-редактор: (совместно с А. Голубевым) *XX век: письма войны*. М.: Новое литературное обозрение, 2016; (совместно с Е. Трубиной) *Травма: Пункты*. М.: Новое литературное обозрение, 2009.

### **- Почему Вы решили стать историком, кто были Ваши учителя, как Вы учились?**

- Я думаю, всё получилось достаточно случайно, хотя и вполне закономерно. Школу я заканчивал в 1983 году, и если ты хотел заниматься гуманитарными науками, то особого-то выбора не было. Я рос в Барнауле, в плане места обучения выбор был очевиден – университет. А там, кроме исторического факультета, как-то меня больше ничего не привлекало. На филологию и экономику я не хотел, на юрфак мне было неинтересно. Я бы пошел на философский, но философского факультета у нас не было. Поэтому я и стал историком, специализировался на новой и новейшей по кафедре всеобщей истории. Моим руководителем был Анатолий Ефимович Глушков, он занимался в своё время Веймарской и фашистской Германией. Почему-то он очень настаивал, чтобы я писал диплом по американским новым левым и прочей контр-культуре в США во время Вьетнамской войны. В смысле – я учил английский язык, так что было понятно, что тема будет связана с источниками на этом языке. Так вот моя ревизионистская жизнь и началась. Я сидел и читал тогда Маркузе и прочих Теодоров Роззаков. Сначала в спецхране в Томске.

### **- А Маркузе был в спецхране?**

- Не только Маркузе. Там были и *The Nation*, и *US News and World Report*, и *Time*. В общем вся американская «союзпечать»... Предполагалось, что я буду поступать в аспирантуру по всеобщей в Томский университет, и мой руководитель отправил меня туда знакомиться с моим будущим руководителем. Он посмотрел на меня и говорит – тему тебе могу дать такую: «*Колониальная политика США на Филиппинах в 1898-1914 гг.*». Я до сих пор это помню. Уже тридцать лет прошло! Какие Филиппины, думал тогда я? Какой 1898-1914? Зачем мне эти древности... А других тем для меня не было. И я туда не пошел.

### **- Это была уже аспирантура?**

- Я остался на кафедре всеобщей истории и работал ассистентом, был параллельно в Комитете комсомола, потому что ставки полной не было. А в 1990 поступил в аспирантуру на философский в Ленинградский госуниверситет им. Андрея Жданова. Тогда, как раз, ввели новую специальность – политология – и я поступил на кафедру политологии. До этого она была кафедрой критики современной буржуазной философии. То есть преподаватели знали языки, читали литературу иностранную. Моим руководителем был Валерий Ачкасов, который занимался тогда английскими консерваторами, по-моему... Там я уже и стал писать про университет как политический институт. Тогда и стал читать Фуко и Бурдьё про интеллектуалов, академию, власть. Понятно, что это было продолжение моего диплома в какой-то степени... Но политология тогда давала какую-то свободу, которой в истории не было. От истории у меня остался интерес к историческим материалам, к архивам, документам, но в истории мне не хватало живых людей и современности...

### **- А когда у нас появилась антропология? Это было уже после 1991 года? Сначала ведь была этнография.**

- Антропологии не было. Этнография была на истафаках. Она была у нас на первом курсе, параллельно с курсом по истории первобытного общества. Эти две дисциплины так тогда и воспринимались – про что-то совсем уж не от мира сего.... К антропологии я шел долго. Защитив кандидатскую, я уехал в 1996-м в Эдмонтон, в Канаду, где собирался писать PhD по философии образования... Там и начал ходить на лекции по психоанализу, теории и истории языка и прочему постмодернизму. Тогда в радикальной педагогике, которой я интересовался, пытались соединять Деррида с Грамши. Вообще это было очень любопытно интеллектуально. Но мне мало понравился сам университет и провинция Альберта. Это такая канадская Сибирь. Все далеко. Холодная зима. Пустой город. В Питере я как-то уже привык к другой жизни. В общем, я решил, что это не мой путь в науку, и уехал в Будапешт, в Центрально-Европейский университет.

С Будапештом тоже получилось все довольно случайно. Я хотел поступать на PhD по национализму в Праге (у ЦЕУ тогда было несколько кампусов – в Праге, Варшаве и Будапеште), программу основал Эрнст Геллнер, известный антрополог из Кембриджа. Но Геллнер осенью 1995 г. умер, и программу приостановили. Мне предложили подать документы на MPhil на новую двухгодичную программу – *Gender and Culture*. Так я там и оказался. Там-то, вот, как раз я и начал читать в промышленных масштабах Фрейда, Лакана, Мелани Кляйн, Винникотта... Два года я прожил в Будапеште. И написал исследование *The post-Soviet imaginary: constructing new Russian fantasies* – на основе интервью и опросов, которые я брал у школьников и студентов 1-2-го курсов в Барнауле. Это был 1997-98 г., и меня интересовало, как они понимали, что такое «советский», что такое «русский», что такое «новый русский», что такое «постсоветский». И на другом уровне – «Советская Россия», «новая Россия», «Совок». Тогда – на основе этого материала – и всплыла тема с афазией (<http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/ush55.html>), о которой я не раз писал.

Оттуда я уже подавал на PhD в американские университеты, про которые я к тому времени стал что-то понимать. Я помню, я рассылал заявки веером на разные дисциплины. И что самое смешное, меня взяли на историю, социологию, политологию и антропологию. В итоге, учиться я пошел на антропологию в Колумбийский университет. Я иногда думаю – когда у меня иссякнут исследовательские темы, я сяду писать свою версию романа «Мои университеты». У меня их было очень уж много...

Так вот, в Колумбийском и проучился - с 1998-го по 2005. Тогда на кафедре было три лагеря – «дерридисты», «фукуйщики» и «беньяминовцы». Я был среди «фукуйщиков», но при этом очень интересовался «дерридистами». А вот «беньяминовцы» меня как-то совсем не привлекали. Впрочем, как и сейчас... А свое полевое исследование я делал в Барнауле – с 2001-2003 гг. Это было такое возвращение после 10 лет отсутствия, которые сильно изменили город и страну. Диссертация тогда называлась *The patriotism of despair: Symbolic economies, national memory, and communities of loss in Russia*. На ее основе потом я и сделал свою книгу (<http://www.cornellpress.cornell.edu/book/?GCOI=80140100385470>).

### **- Расскажите о Вашей книге: почему Вы решили говорить о сознании людей, которые пережили 91-й год и вообще 90-е, в терминах «травмы»?**



- Я не планировал этого делать. То есть – у меня не было изначально такой рамки. Да и сама тема возникла, как и все в моей академической жизни, довольно случайно. Я как-то выступал с докладом на конференции в Колумбийском, говорил что-то про «новое русское» потребление, о том как оно становится предметом фантазий у тех, кто самих «новых русских» собственно не знают. То есть – речь шла о том, как виделось в то время «успешное» и «престижное» потребление. Я тогда придумал термин – «количественный стиль (<http://www.nir.ru/sj/sj/sj3-4-99ush.html>)», когда важно не *что*, а *сколько*. Мне это казалось очень интересным. Это был 1999-й год... Одна из слушательниц вдруг подняла руку и задала мне вопрос: «А почему Вы не пишете про Чечню?» Вопрос был неожиданным. Никак не связан с моим докладом. Я что-то тогда промямлил в ответ. Но понял, что у меня – *для меня самого* – ответа на вопрос о том, почему я не пишу про Чечню – не было. Вообще никакого.

Мне показалось, что на этот вопрос надо отвечать, не столько слушательнице, сколько себе самому. И из этого выросла книга про патриотизм отчаяния, про Чеченскую войну и распад СССР, и про травмы, связанные со всеми этими событиями. Так это всё началось – с вопроса незнакомой женщины...

Мое полевое исследование в Барнауле началось с интервью ветеранов первой Чеченской войны. Для меня это был совсем другой мир, который с моим очень мало пересекался. У меня не было знакомых среди них. Никто из моих друзей не был в Чечне. В общем – это был такой классический этнографический опыт, когда ты идешь к людям, о которых почти ничего не знаешь, и пытаешься понять, почему они такие, а не другие. Почему они себя ведут так, хотя могли бы иначе. И как они это все себе своими словами объясняют...

#### **- Это были солдаты, которых призвали на срочную службу?**

- Да, профессионалы появились во Вторую чеченскую. В Первую были призывники. Молодые ребята. Часто – из сел.

Но тема травмы пришла не сразу – уже после, когда я начал работать с материалами, читать все интервью одно за другим, пытаюсь увидеть какие-то общие темы, какие-то повторы и т.п. Я обычно во время полевых исследований стараюсь не писать о том, что я исследую – чтобы не возникла предварительная фильтрация материала, когда ты не столько слушаешь собеседника, сколько пытаешься услышать идеи, которые бы подтвердили уже оформленный аргумент.

Я про травму изначально не думал. Я просто ходил как на работу на эти интервью и слушал собеседников. Одного за другим.

И как это бывает обычно - в какой-то момент вдруг вспыхивает в мозгу сигнальная лампочка. Ты начинаешь понимать – это я уже слышал. Потом второй раз. Третий. Так возникает ощущение, что ты нащупал нить. Тему, которая важна твоим собеседникам. Не тебе важна, а им. И начинаешь ее копать глубже, чтобы понять – есть ли там, так сказать, вода. Или это просто – пустая порода риторики. Так тема травмы и стала постепенно оформляться. Точнее, не столько травмы, сколько утрат.

Поскольку я тогда психоанализа много начитался, у меня была в голове устойчивая нормативная модель травмы, с определёнными стадиями её проживания – вначале отрицание травмы, затем гнев и потом постепенный уход от этой травмы, т.е. переход в пост-травматическое состояние, когда понимаешь, что надо учиться жить с травмой, не проживая ее всякий раз заново, а «архивируя», помещая в рамки, которые позволяют начать жизнь, не связанную с травмой.

Так вот, с этой моделью у меня возникли проблемы. То, что я «собрал» в поле, показывало мне совсем другую динамику. Желания *уйти* от травмы я не видел. Так сказать, *пост-травматического* состояния в буквальном смысле – то есть как жизни *после* травмы – не было. Была настойчивая потребность сделать утрату, травматический опыт, основой своей повседневной жизни.

Помню, я долго пытался понять, как, например, «солдатские матери», чьи сыновья погибли в армии, видели себе пределы того, что мы называем «мемориализацией», (они это называют «увекочиванием»). Я, по наивности, ждал, что вот наступит момент, когда они от «политики памятников» - мемориалов, досок, книг памяти и т.п. - перейдут, собственно, к *политике* и потребуют каких-то решений, законов, ответственности... Но этого в Барнауле - не было. Утраты становились делом жизни, вокруг них выстраивались разные сообщества и практики.



**- Если говорить о евреях, переживших Холокост, то речь идёт о том, что они хотят избавиться от этой травмы. А русские – получается – лелеют её?**

- Я не думаю, что русские ее лелеют. Я думаю, они понимают, что с ней делать. Опять же, помню, как одна солдатская мать писала в письме другой: «Человека с человеком сближает горе». Я когда это прочитал, запнулся: не радость, не общее дело, а такая фундаментальная эмоциональная встряска. «Я знаю, что ты меня поймёшь, потому что тебе тоже было плохо». Такая вот версия негативной диалектики, так сказать. Травматическая эмпатия. Я как-то беседовал с одной учительницей из Барнаула. Она проводит ежегодный конкурс детской поэзии, посвященной выпускникам школы, которые погибли в Афганистане и Чечне. Стихи потом печатают сборниками. Так вот, один сборник называется «*Нам этой болью дышать*» ([https://www.academia.edu/462322/%D0%9D%D0%B0%D0%BC\\_%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9](https://www.academia.edu/462322/%D0%9D%D0%B0%D0%BC_%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9)) И что делать с этой болью, ставшей воздухом, я не очень знаю.

**- Группы, с которыми Вы работали – это ветераны и матери погибших солдат. А может разница в том, что героический миф в России имеет большое значение? Герои и матери погибших героев чувствуют себя по-другому в сравнении с евреями, которым было стыдно, что они в большинстве случаев не сопротивлялись, когда их гнали на смерть. Может быть причина в этом? Русские чувствуют, что проявили героизм, сражались, им тяжело, но они хотят этим гордиться.**

- Вы знаете, у меня же не только русские были. Я, честно говоря, их национальность-то и не выяснял. Они для меня все – бывшие советские. Но я не очень уверен в такой значимости героизма. У меня было несколько интервью с матерями, чьи сыновья погибли из-за неуставных отношений в армии. И то, как эти матери «прорабатывают» свою утрату, в принципе, мало чем отличается от других случаев, хотя ситуация абсолютно иная. Одна из матерей мне говорила: «А какая мне разница, из-за чего он погиб? Объясни мне разницу между матерью, сын которой погиб в Чечне, и матерью, у которой сын погиб в Чите из-за неуставных отношений. Мы обе послали в армию живых, они оба вернулись домой в гробах». И, ведь, нет разницы-то. Потому что общий знаменатель – он не политический, он экзистенциальный. Разговор-то ведется на каком-то совсем базовом уровне – на уровне жизни и смерти.

И потом, в Первую чеченскую мало кто из солдат думал о себе, как о героях. Я не помню темы героизма вообще. Почти все из них говорят о том, что было непонятно, что это было и зачем это было нужно. И смысл войны приходил в процессе войны. Кто-то из ветеранов мне говорил – «Когда в Чечне убили моего друга, я стал за него мстить. Появилась цель». Я, кстати, потом много исследований разных войн читал. И это объяснение – классическое, как оказалось...

Любопытно, как матери ушли от проблематичности ситуации, переведа ее в термины родства («солдатские матери»): политическая катастрофа становится семейной катастрофой. «Сестры по горю», - так они себя называли.

**- Ваша гипотеза в том, что у них просто нет другой идентичности (утраченной с развалом СССР), и поэтому они держатся за подобную виктимность? Эта форма идентичности ими избрана, потому что они не могут найти другой?**

- Это так сложилось в тех конкретных социальных условиях – в 1990-х. Возникла определённая матрица поведения, которая потом стала воспроизводиться другими матерями погибших солдат. Но они же не сидели и не думали, о том, чтобы выстроить себе идентичность. Они начинали с самого простого: нужно было обустроить кладбище. Я не знал об этом до разговоров с матерями афганцев: в Барнаул из Афганистана привозили и хоронили погибших на разных кладбищах или в разных частях одного и того же кладбища – чтобы не привлекать внимания. А в начале 90-х матери взяли и перезахоронили всех погибших вместе. Перенесли все могилы и сделали аллею общую. Как они ее называют - «Аллею славы». Хотя официально она называется «Аллея памяти». Ну, а потом постепенно пришло понимание того, что в этой роли их слышат, им отвечают, их видят.

К вопросу о выборе идентичности: мне кажется, они работали так, как умели. Разговоры про актуализацию «репертуара идентичности» - это не про них все-таки. Они не выбирали роли стратегически. В этом смысле, всё начиналось очень перформативно – делали как умели и могли, а уже потом, постепенно, это стало превращаться в какие-то традиции, привычки и т.д.

**- Эти две группы, это всё-таки люди, которые были на грани жизни и смерти. Но Вы общались и с людьми, у которых были более прозаические проблемы – увольнение с работы и тому подобное. Как они осмысливали перемену своего положения? Применяли ли они слово «травма», или его привносят учёные?**

- Социологи, конечно, употребляли. Я уже говорил, как тема «жизненных сил» возникла в ответ на травму Семипалатинска. В этом плане эта группа социологов была для меня очень показательна: должна быть фундирующая травма, исходная основополагающая, на которую дальше накладываются различные темы, связанные с национальной идентичностью, жизнеспособностью, рождаемостью, воспроизводством и т.д. Я не знаю, насколько они об этом осознанно думали, но для меня это было интересно в контексте общего исследования: солдатская мать с восьмилетним средним образованием и профессор социологии работали в рамках одной и той же системы координат, отталкиваясь от негативной точки отсчёта.

Да, у меня были беседы и с другими категориями, например, с нацболами. Там всё уходит не в травму, а в термины: «так быть не должно, мы не понимаем, почему это с нами случилось». Я говорил с одним учителем, он задавался вопросом: «Почему я, здоровый, сильный, работая на пяти работах, всё равно не могу прокормить семью? Я не пью, не бездельничаю, что в этой системе не так, что не позволяет мне жить нормально?» Тема фундаментального слома – с моей точки зрения, – это и есть травма. Система не работает, мы видим, что она не работает, а что делать дальше, мы не знаем. Это как оказаться за рулем машины на оживленном перекрестке, где светофоры вдруг перестали работать. Нужно двигаться на ощупь и договариваться со всеми водителями самому...

В одной главе я пишу о теории заговоров ([https://www.academia.edu/292149/\\_Stop\\_the\\_Invasion\\_Money\\_Patriotism\\_and\\_Conspiracy\\_In\\_Russia](https://www.academia.edu/292149/_Stop_the_Invasion_Money_Patriotism_and_Conspiracy_In_Russia)), которой пытаются объяснить необъяснимое – почему это происходит. Ведь любопытно, как это люди объясняют о себе: «Это же не может быть случайным. И не работает не потому что сломалось, а потому что запланировано не работать».

**- Они ссылаются на некие внешние силы, которые устроили заговор против них?**

- И внешние, и внутренние. Но тут другое было интересно – поиск закономерности, уверенность в том, что вот этот весь ужас – он предопределен – Соросом, Чубайсом, НАТО или кем-то еще. Для меня такая фундаментальная тяга к поиску объяснений – «Почему это произошло, и почему мы в этой ситуации находимся?» – была неожиданной.

**- Хочу задать вопрос, особо интересующий меня: я смотрел данные по смертности и рождаемости и в сталинское время, и в 80-90-е годы, и обратил внимание на то, что при Сталине (не считая, разумеется, войны) был единственный период, когда смертность была выше рождаемости – это голод 1932-1933 гг. Всё остальное время наблюдался прирост населения, несмотря на ужасающие условия. Резкая перемена ситуации произошла после 1991 года. Я сложил показатели рождаемости и смертности за 80-е и за 90-е годы, и оказалось, что в 80-е население выросло почти на 7 миллионов, а в 90-е оно почти на 7 миллионов уменьшилось. Это без учёта миграций. Продолжительность жизни уменьшилась на 7,5 лет до уровня 1954 года, т.е. практически вернулась в сталинское время. Известный специалист по потерям населения Александр Бобеньшев (псевдоним Сергей Максудов) из Гарварда оценивает потери населения в 90-годы в 4 млн. для РФ и 8 млн. для экс-СССР. Мы понимаем, что все, связанные со Сталиным события – война, репрессии, коллективизация – были гораздо более серьёзными ударами. Так почему же так тяжело люди восприняли 90-е годы? Что поменялось? Они стали слабее, или более тонкой стала их организация, чем, скажем, у крестьян при Сталине? Какие факторы сказались на том, что в 90-е потери населения были столь велики?**

- Это надо смотреть по демографическим данным. Мне кажется, там есть ещё две причины, о которых мы забываем. Во-первых, мы имеем дело с населением, которое вообще малородящее, плюс – рождение детей стали откладывать, т.е. прирост населения негативный. Вторая важная тема – это потребление алкоголя и смертность в связи с этим. Понятно, что Ваш вопрос о том, почему стали вдруг пить именно в 90-е?

**- Да, почему они сломались гораздо сильнее, чем сломались при Сталине? Ясно, что сельские люди не так легко выбиваются из колеи.**

- Я думаю, что там и социальные сети другие. Всё-таки, сельские люди живут и на виду, и большой семьёй, и там другая система поддержки. Вы знаете, я заметил кое-что по чеченским войнам. На второй войне – когда стали призывать контрактников, – это были, как правило, люди и взрослее, и с профессиями, и часто женатые. Им было куда возвращаться. Их восприятие войны было другим – более взвешенным, более дистанцированным и менее надрывным. А в первой были в основном сельские ребята, у которых еще не было ни профессии, ни социальных сетей, ни семьи своей. Вот для них этот опыт и стал основной травмой их жизни. Я не помню больше такого надлома, который я видел у них. Какая-то жуткая потерянности и ощущение того, что их, как они говорили, – «кинули». Как они мне часто повторяли – «государство с нами не рассчиталось»... Отсюда и ломка, мне кажется. ...Я полагаю, что нужно всё-таки смотреть данные, не хотелось бы это обобщать.

**- Я хотел бы задать ещё один вопрос: люди, у которых Вы брали интервью, сравнивали ли они свою ситуацию с трагическими событиями российской истории – война, репрессии? Зимой 1991-1992 гг. я был в аспирантуре в Петербурге. Это был действительно непростой период – по несколько дней в магазинах не было хлеба и т.д. Понятно, что это не соответствует действительности, но я помню, как бабушки в очередях говорили, что в блокаду было лучше. А Ваши респонденты сравнивали то, что происходит в 90-е годы, с историческими травмами?**

- В диалогах не особо, но в письмах это было. Я хорошо помню письмо, которое пишет мать из деревни, сын которой погиб в афганской войне, другой матери. Это был 1992 год, и она извиняется в письме, что, вот, хотела позвонить, но переговорного пункта в деревне больше нет – местную АТС разворовали, в город позвонить теперь нельзя, только письма писать. Она пишет, что «жалко жить»: ей был всего год, когда отца призвали на финскую войну, а потом уже – на Великую отечественную, с которой он не вернулся. Пропал без вести. Вся надежда была только на мать, которая постоянно болела. Потом отчим появился, тоже не очень здоровый. Только жизнь стала налаживаться – сын погиб в Афганистане.

Её рассказ – это такая цепь утрат. Если расставить события жизни, которыми она структурирует память о своей жизни, они окажутся негативными. Жизнь как история выживания – вопреки всему... Но вот сравнительного – то, о чём говорите Вы – я не помню. Тенденция рассказывать о жизни, как о череде постоянных неудач и драматических моментов – это было. А вот «сравнительного травмоведения» я не помню.

**- После того, как Вы написали книгу, Вы приезжали на родину. Что, на Ваш взгляд, изменилось в людях по сравнению с 90-ми годами?**

- Сложный вопрос... Чем дальше, тем я больше понимаю, что абсолютно не понимаю новое молодое поколение. Мне казалось, что я знал более-менее о постсоветском поколении – людях, которые формировались в 90-е, когда им было 15 лет и больше. А сегодняшние 18-20-ти летние люди для меня полная загадка, я совершенно не понимаю, как у них «голова устроена», каков их культурный репертуар, и что для них значимо. У меня такое ощущение, что у нас абсолютно разные культурные запасы и система ссылок. Это первое. И чем чаще я приезжаю, тем больше это бросается мне в глаза. Я понимаю, что невозможно говорить о каких-то фильмах, которые бы мы вместе смотрели и знали, или о литературе. Для меня они такие же иностранцы, как здесь американцы.

Это стало возникать особенно отчётливо последние года четыре-пять. Я даже стал подумывать, может быть мне заняться их исследованиями, чтобы понять, что вообще происходит. Меня просто завораживает наличие этих *абсолютно непонятных мне людей*, которые выглядят российскими, но при этом совершенно другие.

А что касается старших, то из того, что я отмечаю – это достаточно резкая (но для меня понятная) тяга к религиозности. Это тоже для меня неожиданно. Я все-таки формировался в советском обществе, и его базовый воинствующий атеизм меня пропитал насковозь. Поэтому для меня резкий всплеск интереса к религии – христианству, мусульманству – удивителен. Понятно, что во многом – это все на уровне ритуала и орнамента, но у меня достаточно друзей, для которых это серьезно. Я не представлял себе, что такое будет возможным. Это та часть опыта, который для меня непонятен. Пожалуй, вот это...



И еще, наверное, ожесточенная настойчивость темы памяти о советском прошлом. Мне интересно наблюдать за тем, как происходит структурирование этой темы – в рамках противопоставления Трора и Великой отечественной. Этот спор и не иссякает, и не разрешается. В ответ на «Бессмертный полк» появляется «Бессмертный барак». То есть, это какие-то такие структуралистские игры в бинарные оппозиции на историческом материале. Понятно, что это в основном среди интеллигенции. Но постоянство этого спора для меня удивительно.

**- А религиозная идентичность, о которой Вы говорите, это в основном у старшего поколения?**

- Да, это то, что я наблюдал у старших.

**- Те, кто были коммунистами, сейчас стали религиозными? Может быть это связано ещё с возрастом, когда уход приближается, хочется вспомнить про загробную жизнь и т.д.?**

- Наверное, да. Я ещё смотрю по своим сверстникам, тем, кто со мной учился в университете – среди них достаточно людей, которые стали ходить в церковь, соблюдать религиозные обряды и т.д.

**- А в церковь они ходят не только на Пасху, но и по воскресеньям, например?**

- Есть такие, кто ходит постоянно. ... Может, вы правы – это возраст так даёт о себе знать. Но все равно – непонятно. Почему именно так, а не иначе? Почему, условно говоря, не йога? Мы же говорим о поколении людей, которые достаточно грамотны, чтобы знать, чем себя занять... Я был в Москве этим летом, когда там были выставлены мощи.

**- Да, посетителей было более миллиона человек.**

- Я шел мимо, был по другую сторону этих «баррикад», с другой стороны Москва-реки, на Красном Октябре, и оттуда была видна эта огромная очередь. Мне всё это, конечно, напомнило другие мощи – мавзолее Ленина. Т.е. формально какие-то вещи остаются постоянными. Хотя меняются на уровне содержания.

**- Т.е. это не только на уровне пропаганды про скрепы, но и получает отклик у населения?**

- Мне кажется, вся эта тема про скрепы, она не на пустом месте возникла. Потому что скреп хочется. Точнее – хочется ясности в базовых вопросах. Что такое хорошо и почему так плохо? «Скрепы» об этом. Они позволяют чётко ориентироваться и не ставить себя всякий раз перед моральным выбором, потому что постоянно такой выбор делать тяжело и малопривно. Апофеоз беспочвенности как стиль жизни – это же невыносимо, хотя безумно интересно. Религия в этом плане даёт какую-то предсказуемость. Как в своё время это давала идеология.

Может быть это реакция на неолиберальную идеологию последних десятилетий? На разочарованность в надежде 90-х на то, что рынок всё и всех расставит по местам. Что твой успех – это следствие твоей индивидуальной активности, что успешные люди – это люди, которые знают, как надо жить... А потом выясняется, что, успех – нередко дело случайное, итог совпадения ряда обстоятельств...

**- В связи с этим вопрос о росте народного сталинизма, который пошёл не с Путина. Где-то с 95-го года он начал фиксироваться в соцпросах и продолжает расти. Чем Вы это объясняете?**

- Мне сложно обобщать, потому что я не делал никаких интервью на эту тему. Было бы очень интересно посмотреть, как люди себе это объясняют. Я могу только спекулировать на эту тему. С одной стороны, мне кажется, это такая скептическая реакция, в том числе, и на попытки увязать все неудачи со Сталиным. Когда происходит назначение своего рода одного и главного ответственного за всё то, что происходило. Мне кажется, что ситуация сложнее. И когда складывается негативный культ личности, возникает попытка занять обратную позицию. Но я повторяюсь – я не знаю, мне нужно пообщаться с такими людьми.

**- А когда Вы брали интервью, эта тема вообще не всплывала в разговорах?**

- Я не помню такого.

**- Т.е. для людей это было неактуально?**



- Такой сознательной темы я вообще не помню. Для меня 90-е интересны тем, что тема Террора и сталинизма, и даже Великой отечественной – там как-то ушли на второй и третий план. Той важности, которую история приобрела сейчас, я не помню. В интервью, которые я делал в начале 2000-х, сиюминутный и недавний опыт людей был настолько значим, что списывать всё на голод и террор 30-х им не приходило в голову. Причины искали в недавнем. Во многом ещё и потому, что помнили, что в 80-е жили в общем-то относительно неплохо. Всем запомнился обвал. Город во тьме. Когда погасли уличные фонари, потому что кто-то обрезал провода и сдал их в скупку металла...

**- Можно сказать, что их причисление себя к сталинистам, это своеобразная реакция протеста? Им говорят, что при Сталине всё было ужасно, а они назло утверждают, что всё было хорошо. Так?**

- Да, у меня есть такое ощущение. Мне напоминает это советскую логику, когда вы нам говорите, что коммунизм – это хорошо, а мы вам будем рассказывать анекдоты про Брежнева. Некая попытка снижения всеобщего пафоса. Здесь, может, примерно то же самое. Помните, как в советское время у некоторых водителей появились на лобовом стекле фотографии со Сталиным – как ответ на его разоблачения? Мне кажется, что мы похожее видим – ритуальный протест доступными средствами. Сопrotивление в виде обряда.

**- Получается, что люди, озабоченные ростом сталинизма, разоблачая его – на самом деле его подпитывают.**

- Понимаете, цель любых «разоблачений» – продемонстрировать определенную тенденцию. Не показать всю цветущую сложность ситуации, а обозначить вектор определенный. И пока советский период будет оформляться в виде противопоставления, условно говоря, ГОЭЛРО и ГУЛАГа, «лампочки Ильича» и колючей проволоки, ситуация так и будет оставаться патовой.

В психоанализе есть такой термин – расщепление. Мелани Кляйн много писала в свое время о том, что в своем развитии грудные дети движутся от стадии, которую она называла параноидально-шизоидной к стадии депрессивной. Параноидальная стадия сводилась к тому, что мир воспринимался поделенным на силы тьмы и добра. Есть, как писала Кляйн, «хорошая грудь» - источник тепла, пищи и т.п. И эту «хорошую грудь» ребенок интериоризирует, считает частью себя. Но иногда эта грудь исчезает куда-то. И вот эта, исчезающая «грудь», – это «грудь» плохая, она вовне, снаружи, за пределами существования ребенка. Кляйн называла эту операцию «расщеплением», когда хорошее и плохое – географически не сопадают. Выходом – для Кляйн – должна быть ситуация, когда, во-первых, приходит осознание, что – во-первых, «грудь» одна и та же, а, во-вторых, что она всегда, так сказать, не твоя. Признание этого факта зависимости от внешнего мира, который существует по своим принципам, и связано у Кляйн с «депрессивной позицией», то есть, с осознанием того, что вот эту ситуацию – не изменить, своей только хорошей «груди» не вырастет и потому надо привыкать к несовершенству того, что доступно.

Так вот, про Сталина. Расщепление на *плохого Сталина* и *хорошего Сталина* – оно сходно по своей природе, оно аффективно-идентификационное, а не историческое. Вопрос в том, как найти нарративную рамку, которая позволит эти «груди» соединить, поняв при этом, что они – за пределами *нынешней* жизни. Мне кажется, задача в том, чтобы уйти от Сталина как от ключевой метафоры советского периода, и говорить о рамках, которые не сводили бы это время (да и любое другое) к какой-то единой поляризующей теме «груди», а объясняли его не только через личности, но и через процессы и институты, практики и ценности.

Мне странно, когда в советской истории пытаются находить только историю сталинизма и террора. Мне кажется, он интересен не только этим, хотя я понимаю, почему об этом хочется говорить опять и опять – уж слишком долго про это молчали. Но... я когда стал заниматься Чеченской войной вдруг обнаружил насколько мало она предстала в повседневной жизни большинства людей, в общественном дискурсе, так сказать... Я помню, что тогда еще подумал, с Террором, видимо, было то же самое – для кого-то он тоже был не главной частью их жизни.

**- Это Ваше наблюдение очень интересно! Для многих представителей интеллигенции, 90-е годы были временем возможностей. Вы в Америку смогли поехать. Я бы в советское время никогда бы в аспирантуру не поступил в антисемитском Кишинёве – это точно. И поэтому казалось, что и у остальных все было нормально. Но ведь, если вспомнить, что после Большого террора молодые инженеры становились директорами заводов – это же**

**тоже был взлёт для них! И, наверняка, они так же не хотели замечать всего остального. В этом есть некая наша чёрствость – мы, как интеллигенция в целом, не готовы этим людям сочувствовать.**

- Сочувствие это одно. Но тут есть и другое – мы свой собственный опыт начинаем воспринимать за социальную норму. Мое исследование последствий Чеченской войны для меня стало очень важным в том числе и потому, что оно очень хорошо показало, насколько закрытым может быть тот или иной массовый опыт.

В войне в Чечне участвовало людей больше, чем в Афганистане. И погибло там больше. А знаем мы про это гораздо меньше. В интервью (<http://gefter.ru/archive/22536>) на «Гэфтере» я недавно говорил о том, что мы продолжаем обсуждать 30-е и 40-е годы, а вот чеченский и афганский опыт остаются мало проговоренными до сих пор. И всё это в ситуации, когда люди, которые могут об этом рассказать, они вот тут – рядом. Они живы. Они еще помнят. Но их опыт оказывается почему-то менее важным, менее интересным, менее значимым социально и эстетически, чем опыт людей ушедших. Почему?

**- Это была – как бы – ошибка власти: «Люди погибли, но это было ошибкой, ну и забудем про неё!» В таком ключе?**

- Где-то так. В сборнике *Травма: пункты* ([https://www.academia.edu/462329/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0\\_%D0%9F](https://www.academia.edu/462329/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0_%D0%9F)) который я редактировал с Еленой Трубиной, у нас есть любопытная статья Роба Веслинга – про смерть Надсона как гибель Пушкина. Она о том, что получается, когда есть нормативная модель того, как должен умирать большой писатель. О том, что есть образцовый и показательный способ умирать. Афган и Чечня – не образцовые. Не показательные. Наверное, еще и потому, что участвовали в них, как правило, представители социальных групп, которые историческими исследованиями не занимаются. Выбор образцовых травм, видимо, очень зависит от того, кто делает этот выбор.

Кстати, было бы интересно сделать сравнительный анализ травм – какие травмы становятся важными, а какие – нет в современных гуманитарных журналах...

**- Т.е. раскол между нашей – скажем так – образованной частью общества и остальными, связан с тем, что у нас разные травмы? Интеллигенция акцентируется на сталинизме, а остальные на личных переживаниях 90-х?**

- Да, видимо, у нас была хорошая жизнь. Как Вы говорите – для нас 90-е не стали травмой. Они были временем возможностей. В отличие от многих других. Рефлектировать по поводу собственного опыта нам не очень интересно, поэтому интереснее смотреть на исторические вещи, занимая некую метапозицию отстранённости. А эти люди не могут позволить себе такую роскошь, чтобы, отойдя от собственного опыта, не связывать сегодняшнего положения с тем, что произошло с ними в 90-е... В одном письме в 2000 г. мать солдата, погибшего в Чечне, пишет о том, что никак не может найти информации о гибели сына, и роняет попутно: «Мне ещё детские пособия за него так и не выдали, а его уже нет в живых»... В моей жизни не было таких «пособий». Из моего села не крали АТС. Я не знаю, как это – не иметь возможности позвонить в город. И я думаю, что отсутствие такого опыта во многом определяет оптику моих исследований тоже...

**- А Ваши знакомые в Барнауле сейчас чувствуют себя увереннее в сравнении с 90-ми? Или всё равно присутствует обидка, что держава развалилась? Ресентимент остаётся, или люди становятся более спокойными?**

- Мне кажется, стало спокойнее, хотя особыми исследованиями я не занимался (я последние 7-8 лет в основном работаю с материалами из Киргизии и Беларуси). Мне кажется, это уже такая общая ситуация, ведь жизнь идёт, дети идут в школу, в университет, появились внуки, поэтому как-то примиряешься с жизнью страны. Преподней страны не стало, появилась другая. Даже в ситуации с Украиной острота разногласий стала снижаться. Стало понятно, что есть разные группы, есть разные взгляды и эти взгляды никогда не сойдутся, и появилось понимание того, что так, скорее всего, будет и дальше.

